

*Окно выходит в белые деревья,  
В большие и красивые деревья,  
Но мы сейчас глядим не на деревья –  
Мы молча на профессора глядим.*

Евгений Евтушенко

На веранде пахло деревом, старой мебелью, пылью. Примешивались какие-то еще запахи, приносимые из лесу, но их нельзя было как следует разобрать – налетало на секунду как-то обрывочно не то смолой, не то травой, не то землей. Можно было сколько угодно торчать тут на этой веранде, разваливаться и засыпать в кресле-качалке, просыпаться, заваривать чай, присаживаться покурить на ступеньках крыльца – к запахам этим невозможно было привыкнуть. Они вились вокруг, донимая своей остротой и свежестью. В их неизменной новизне чувствовалась постоянная угроза – вот налетит такой неизвестный неуловимый аромат, ты зажмуришься на секунду от солнечного луча, пробившегося сквозь густую дубовую тень, и понесет тебя воспоминание, со скоростью сжимающихся век пролетая целые десятилетия. И забросит тебя то в твое детство в деревне, с какими-то бесконечными крынками, босыми пятками и колодцами, то в институтскую московскую молодость, с буйным чубом и широкоплечим пиджаком, да с чьим-то легким летящим платьем в крупный

горошек, с убегающими каштановыми локонами или рассыпающимся белокурым каре. И так схватит сердце за эту секунду, пронзит такой безысходностью, грустью – не вернуть уже это рассыпающееся каре, не вернуть! Да и было ли оно, не пригрезилось ли в теплом искрящемся тумане такого вот сна, увиденного тут, на этой пахучей застекленной веранде, окруженной размеренным птичьим щебетом и тенью от высоких дубов и сосен? Посмотришь на морщины на своих руках и не поверишь, что эти руки касались когда-то нежной кожи под тем платьем в крупный горошек, играли с каштановыми локонами. Скрипнешь креслом, встанешь неровно, держась за стол, постоишь, опустив голову, глядя куда-то вниз и вбок, прищурив глаза.

Он с трудом встал с кресла, держась за стол, сделал несколько шаркающих шагов, почувствовал, что плед падает у него с плеч, ухватил его свободной рукой, поморщившись от смутной боли, которая вильнула как-то то ли в спине, то ли в груди. На столе, придвинутом к самому окну, раскинулись беспорядочным веером его рукописные листы – печатной машинки он избегал. Бегло глянув на них, он вспомнил о незаконченной работе, опять сморщил лицо, погудел недовольно носом. Обратил внимание на свои ноги – далеко вперед уныло стремились вытянутые колени трико, одного тапка не было. Куда он подевался – не-

известно. Надо теперь идти по комнатам, должно быть, у дивана забыл в гостиной или в кабинете под рабочим столом. Он вздохнул и осторожно, цепляясь за попадающиеся под руку предметы мебели, косяки, стены, хлипкие полочки с какими-то банками и шкатулками, стал перемещаться с веранды в дом через довольно узкий сумрачный коридор. Войдя в большую гостиную с камином, диваном, парой журнальных столиков, заваленных книгами и бесконечными папками, с угрюмым массивом комодов и буфетов вдоль стен, он капризно искривил рот, искал глазами тапок на полу – не нашел. Решил нагнуться и посмотреть потщательнее – может, как-нибудь слился с ковром или прячется за креслом. Но нагнуться или присесть у него не получилось, он как-то только немного склонил голову набок и, облокотясь о спинку дивана, подался вперед, отчего угол его зрения почти никак не изменился. «Он долго ищет по карманам тапок», – мысленно процитировал он стихи любимого когда-то поэта.

– Да что такое, где же этот тапок? А может быть, у вас не брал я тапок? – Он продолжал острить уже вслух, искажая стихотворение, все еще пытаясь усмотреть на пестром ковре очертания своей потерянной обуви.

Тут он почувствовал резкую усталость, глубоко вздохнул, с шумом выдохнул через надутые щеки и вспомнил, что оставил на веранде свой бадик.

– Да что такое, где же этот бадик?! – вскричал он уже театрально своим высоким, немного шершавым голосом и тем же маршрутом двинулся обратно на веранду, решив заодно и выйти на солнышко, выкурить сигаретку с вишневым табаком. Проходя через коридор, он, кряхтя, продолжал импровизировать: – Пошли вы все, не нужен мне ваш тапок! Ведь что такое, в сущности, ваш тапок? Ваш тапок – это, в сущности, так низко! Ваш тапок – это, в сущности, ничто!

Выйдя на веранду, он тяжело опустил плечи, разочарованными глазами осмотрел все вокруг себя – стол с бумагами, открытую дверь, ведущую на полянку перед домом, стены, пол с протянутыми по нему веселыми полосами вечернего солнца, кресло, призывно покачивающееся прямо перед ним, – бадика не было и здесь. «Черт его знает, сговорились, что ли, они с тапком прятаться от меня по всему дому», – подумал он и вышел на крыльцо, ухватив слабыми пальцами с подоконника коробочку с табаком и бумагой для самокруток. Возвращаться второй раз в дом ему уже не хотелось, все равно потом надо идти ужинать, тогда все и найдется. Получше

накинув плед на плечи, он взялся рукой за перила и стал аккуратно спускаться по ступенькам, глядя на свои трико с вытянутыми коленями и зеленый шерстяной носок, который, казалось, весь замирал в брезгливости и ужасе, соприкасаясь своей мягкой шерстью с грубой древесной поверхностью ступеней. «Ничего, ничего, – бормотал он носку, – ты не бойся. Крыльцо у меня чистое, видишь, теплое. Солнышко-то вот нагрело. А тапок найдется!» Представив сейчас самого себя со стороны – какой он медлительный, и чудной и симпатичный, идет в клетчатом пледе и трико по ступеням, разговаривая с носком, – он улыбнулся и вновь довольно бойко процитировал:

– В костюме и немодном и неновом спускается профессор в гардероб!

– Спускается профессор прямо в гроб, – тут же ответил ему голос с другого конца поляны, оттуда, где терялись за молодой елью ворота и высокий забор из светлых досок, отделявший участок от расходящегося дальше смешанного бора и песчаной дороги, ведущей от дома до шоссе.

– Что? Кто там? – напряженно и высоко выкрикнул он, всматриваясь в силуэт, проглядывающий сквозь еловые лапы, качавшиеся слегка на слабом ветру.

– В гроб ты, говорю, спускаешься, а не в гардероб! Тоже мне – профессор...

За елью действительно стоял человек, сейчас было хорошо видно его светлый пиджак и склоненную ярко-белую седую голову. Но он почему-то не двигался, только придерживал как-то руку у кармана пиджака, словно что-то искал там. Лица его было не увидеть, и от этого рождалось неприятное ощущение, что говорит кто-то совсем другой, а этот просто роется у себя в кармане, задумавшись и опустив голову.

– Да кто там? – крепче вцепившись в перила, снова вскрикнул перепуганный хозяин.

Тут наконец седовласый гость появился из-за дерева – согнувшись, держась рукой за поясницу, другой опираясь на трость, шагнул по тропинке, шедшей от ворот к дому.

– Что, не узнаешь, товарищ писатель? – весело вскинул он серебряную голову и выставил вперед острый подбородок.

Обе руки теперь он положил на трость и встал, откинувшись немного назад, давая ошеломленному хозяину возможность как следует рассмотреть и оценить нежданного гостя.

Хозяин тем временем наконец спустился с крыльца и, выпрямившись сколько можно было,

шел ему навстречу, удерживаясь от мучительного желания выставить в стороны руки, чуть присогнуть ноги и таким образом помочь себе сохранить равновесие. Он щурил слабые глаза, стараясь как-то острее и зорче кольнуть взглядом человека в светлом пиджаке, как-то победить его, встретить его приход как бы стеной могущества и холодной независимости. Но у него мало получилось, из глаз потекли слезы, и он тоже замер в максимально значительной позе – ноги кое-как свел вместе, а руки растопырил для учтвого объятия.

– Ну как же я мог не узнать! – плаксиво и громко протянул он. – Сережа!

Сережа тоже потянул руки вперед, лицо скорчилось в выражении сладкой улыбки или наоборот – надвигающихся горьких слез, разобрать было трудно.

– Ну, так-то лучше, Ванюша, так-то лучше! – тоже как-то обиженно почти пропел Сережа и двинулся навстречу своему другу.

Так они сходились – уже прохладным августом, в старом писательском поселке, затерянном в тенистых массивах сосен и дубов, один с печальными вздутиями на коленях, другой с ноющей болью в пояснице, два старика, поседевших, страдающих, одиноких, но все еще цепляющихся за эту жизнь, за эту веселую смену времен года, за этот теплый ветер, шумящий в соснах, за эти редкие встречи с разговорами, чаем, воспоминаниями, спорами. Что их связывало, какие секреты, какие тайны прятались в их благополучном и бестолковом прошлом, в их незаметно исчезнувшем времени, когда они еще было крепки, самонадеянны, в какие узоры сложились, как в калейдоскопе, их солнечные, яркие и теплые прожитые дни?

– Что же ты меня так пугаешь, что еще за гроб? – обнимая Сережу, хохотал трескучим высоким голосом хозяин дома.

– Да брось, Иван Егорович, испугаешь тебя разве гробом-то? – смеялся Сережа, одной рукой обхватив своего старого друга за шею, а второй опираясь на трость. – Не сердись на меня, уж это так подвернулось под язык, с гардеробом с этим срифмовалось, будь он неладен.

– Ах, да! – подхватил Иван Егорович. – В костюме и немодном и неновом!

– Да уж, костюм-то, я вижу, у тебя и впрямь не очень модный, – глядя на колени Ивана Егоровича, улыбался Сережа.

Они уже медленно шли, обнявшись, в дом, покрытые причудливой узорчатой тенью, брошенной на

них кроной большого дуба, раскинувшегося над верандой загородного жилища Ивана Егоровича.

– Хорошо у тебя тут, – выдохнул уставший Сережа, – сколько приезжаю – все нарадоваться не могу, надыхаться.

– Дыши, дыши, Сережа, радуйся! – с поклоном почему-то, сказал Иван Егорович.

– Да, – ответил Сережа и опустил на ступеньку крыльца.

Иван Егорович остался стоять, не желая показывать свою усталость.

После первых приветствий они теперь осматривали друг друга, незаметно, вскользь, бросая украдкой взгляды друг другу на одежду, лица, как бы привыкая, стараясь прикинуть, что изменилось со времени их последней встречи, нет ли следов какой-то иссушающей болезни, внезапно нагрянувшей на ослабший изношенный организм, нет ли сероватого отблеска близкого конца в глазах. Но нет – вроде оба были целы и бодры, этих шести месяцев как и не было, Сережа все так же по-актерски вертел и дергал седовласой головой, обнажая на удивление хорошие зубы в уверенной деловой улыбке, а Иван Егорович по-прежнему заливался веселым резковатым смехом, задорно и уютно кутаясь в плед. И по-прежнему оба они чувствовали никуда не ушедшее напряжение, которое было протянуто между ними уже многие годы, от чего почти каждое их вот такое приветствие с дежурными остротами, объятиями и улыбками постоянно напоминало короткую схватку, обмен проверяющими ударами, как у зверей где-нибудь в саванне – обмен первыми молниеносными укусами.

Сережа скептически взглядывал снизу вверх на своего товарища-писателя, еле заметно, недовольно поводя бровью на его разухабистый наряд. Ну что это он, в конце концов, совсем превращается в какую-то старуху? И волосы уже отросли чуть не до плеч, и плед этот какой-то слишком несерьезный. Уже не говоря об утерянном тапке и никуда не годных трико. Нет, старый писатель Сережа этого не признавал. Он следил за четкостью, отточенностью стиля не только в своей работе над текстом, но и в одежде. Седые волосы его, хоть и просвечивали в некоторых местах уже розовой кожей головы, были красиво уложены, даже смазаны определенным лосьоном, пахли приятным неуловимым оттенком исландской хвои. Мягкий парусиновый пиджак тоже был свеж, синие брюки выглажены, а из-под них временами изящно и скромно выплывала темно-сиреневая ткань нос-

ков, пропадаящая в мягкой коричневой коже дорожных ботинок.

Иван Егорович всегда завидовал умению своего друга так тонко и красиво одеваться. Сам он в молодости тоже был не чужд некоторому выпендрежу в смысле одежды, но теперь уж у него не было сил следить за всеми этими премудростями. Тем более здесь, в загородном доме. Перед кем ему тут было наряжаться – перед Натальей Тимофеевной, которая раз в несколько дней приезжала из деревни, чтобы приготовить еду и убраться в комнатах? Да и потом работы было столько, что не оставалось времени на все эти рубашки и мокасины. Хотя, конечно, Иван Егорович и сам понимал, что с пузырями на коленях он сильно переборщил – все-таки надеть нормальные человеческие штаны он был в состоянии, и та же Наталья Тимофеевна ему бы с удовольствием помогла переодеться.

– Как твоя работа? – лукаво спросил Сережа, улыбнулся, отставил трость, пристроив ее у ступеньки, и полез в карман за куревом – он тоже, как и Иван Егорович, предпочитал сам крутить папироски с ароматным табаком, правда, в отличие от своего друга, который любил вишневый, курил табак с черносливом.

Иван Егорович все-таки не выдержал долгого стояния, закричал и опустился на ступеньку рядом с Сережей. Он тоже достал из кармана коробочку с табаком и стал крутить папиросу.

– Работа идет, – ответил он, закуривая, – понимаешь, никак не могу закончить эту повесть!

Сережа вставил самокрутку в тонкий мундштук, закурил, выпустил густой белый дым, осмотрел знакомую полянку перед домом, поднял голову на небогатый дуб, который, казалось, еще шире раскинул свои ветви, еще гуще оброс листьями. Солнце, которое весь день игриво простреливало веранду Ивана Егоровича, теперь стало таять, ветер начал тяжелее качать дубовую крону, сильнее зашумели и растущие вокруг сосны, вечер наступал с похолоданием. Сережа подставил солидное лицо ветру, стал приглаживать разлетающиеся волосы рукой, поводить плечами, рисуясь то ли перед своим приятелем, то ли просто перед природой. Иван Егорович, который тут же резко замерз и теперь старался как можно плотнее завернуться в свой плед, раздраженно следил за Сережинными позами. «Тоже мне, Станиславский, – подумал он злобно. – Сергей Сергеевич».

– Вот что значит август! – значительно произнес вдруг Сергей Сергеевич.

Он не смотрел на Ивана Егоровича и, казалось, весь был отдан игре переменчивых природных яв-

лений – выдыхал дым на волю резко налетавшего крутящегося ветра, поднимал воротник пиджака, щурил глаза на внезапно появляющийся солнечный луч и, наоборот, мрачнел и тяжелея лицом, будто глубоко задумываясь, когда на него находила быстрая холодная вечерняя тень.

– Не понял, – недовольно крикнул Иван Егорович, который не так элегантно справлялся с налетевшим ветром – его длинные редкие и какие-то негнущиеся волосы вставали, как проволока на голове, искры с папиросы щедро сыпались ему на плед, глаза слезились.

– Я хотел сказать, что могу тебе помочь закончить твою повесть, – по-прежнему не глядя на друга, сказал Сережа.

Иван Егорович вспыхнул – то есть внутренне вспыхнул, а внешне еще более скукожился и схватился за свой плед, сжав в губах самокрутку. Он расширенными глазами глядел на Сережу, не зная, что ему сказать. Ветер грубовато играл его негнущимися волосами, перебрасывая их с висков на лицо, от чего Ивану Егоровичу пришлось все-таки вытащить руку из теплых недр пледа и убрать волосы с глаз. Затем он раздраженно проговорил:

– Знаешь, Сережа, я понимаю, что ты имеешь в виду, но я тебе тысячу раз говорил – нет, нет и нет! Этого быть не может! Ты опять приехал специально за этим. Я знаю. Не надо так крутить головой, ты не Станиславский!

Сережа удивленно обернулся на Ивана Егоровича.

– При чем тут Станиславский! – вдруг резко и неожиданно грубо сказал он. – У меня, может быть, уже времени совсем не осталось, мне может быть, еще два месяца, ну три. Я вокруг тебя всю свою старость проползал, упрашивал тебя, вынуждал! А у тебя один Станиславский на уме!

С криками стариков ветер стал сильнее набрасываться на деревья, облака быстро закрывали вечернее солнце, иногда давая ему лишь секунду, чтобы выглянуть и опять пропасть, оставив пространство гаснуть в сером, холодном свете.

– Ну не мучай ты меня, Сережа! – закричал Иван Егорович, и голос его почти потонул в быстром порыве ветра и бухнувшем где-то вдали низким раскатом грома. Свет начал меркнуть, наверное, начиналась гроза. – Я тебе тысячу раз говорил – если мы это сделаем, то никаких двух месяцев у тебя уже не будет, мы оба сразу исчезнем на месте, умрем, понимаешь?

– Но ведь тогда не умерли, – отвернувшись, отозвался Сергей Сергеевич и отшвырнул в сторону свою недокуренную папироску.

– Тогда мы были молоды. И потом, ты что, забыл, чего это был заказ? Забыл, что у нас не было другого выхода?

Сергей Сергеевич посмотрел в слезящиеся глаза Ивана Егоровича – нет, конечно, он не забыл, он помнил все очень хорошо, хоть и прошло с тех пор почти двадцать лет. Помнил он, как страшным ночным телефонным звонком отдан ему был приказ с самой Кунцевской дачи, точнее, пожелание, но он знал, что это пожелание железнее, страшнее, убийственной любого приказа. Помнил он, как, похолодев, кинулся звонить своему другу писателю Ивану Ермолаеву и сообщать прозрачным от страха голосом о том, что они должны показывать Серую Радугу. Иван тотчас же поехал в загородный писательский поселок на свою дачу, Сергей остался в Москве, в своей писательской квартире, и в назначенный предрасветный час, сев в своих кабинетах за печатные машинки, они стали писать. Ни Иван, ни Сергей не видели, как в еще черном небе уходящей ночи вставала высокая, дрожащая под мелкими звездами, бледная Серая Радуга, одним концом повиснув над писательским поселком, а другой перекинув в Москву. Они вообще ничего тогда не видели – глаза их стали белыми, руки бешено колотили по клавиатуре, у Сергея даже, кажется, пошла какая-то пена изо рта, а Иван оглох и сломал себе два пальца, неудачно попав ими между рядами клавиш. На Кунцевской даче увиденным необъяснимым природно-литературным явлением остались довольны, а восхищенные очевидцы потом еще долго описывали Сергею и Ивану произведенную ими радугу, приукрашая, конечно, ее красоту и масштабы.

Старики замолчали. Сумерки сгущались, тяжелые облака, подступившие из-за леса, несли скорый дождь. Иван Егорович тоже вспомнил ту ночь. Все это было именно здесь, на этой самой даче, в этом доме. Дуб тогда тоже стоял вот тут и так же страшно тянул свои ветвистые руки к небу, стараясь достать до Серой Радуги. Он вздрогнул, вспомнив, как после часа бешеного печатания на машинке подошел к зеркалу и увидел свое худое лицо и ставшие совершенно белыми глаза, тускло светившиеся во мраке прихожей. Он виновато вздохнул и опустил голову.

– Я не хочу всего этого вспоминать, – проговорил он.

– Но мы должны еще раз сделать это! – вскинулся Сергей Сергеевич.

Гром ударил еще раз, солнце окончательно пропало в бурных клубах облаков, ветер дергал плед

Ивана Егоровича, который пытался раскурить погасшую сигарету.

– Нет! – Он выплюнул погасший окурочок. – Это может плохо закончиться.

– Ну и что? – спросил Сергей Сергеевич, слезы показались у него на глазах. – Неужели ты не хочешь ее увидеть, повторить ее! Нет, я не верю, не верю! – Он завертел седой головой.

– Да прекрати ты изображать своего Станиславского! – одернул его Иван Егорович. – Противно смотреть. Понимаешь – это нельзя повторить. Нельзя! Это бывает только один раз.

Он стал подниматься с крыльца. В небе бегло прокатилась тяжелая волна, зашумел дождь.

Сергей Сергеевич тоже поднялся, схватил свою палку и следом за Иваном Егоровичем торопливо пошел на веранду, продолжая растерянно говорить ему в спину:

– Нет, я не верю. Ты должен мне помочь, сделать это ради меня, ради нашей дружбы, в конце концов! Неужели ничего нельзя сделать? Неужели ты боишься? Нет, я не верю, не могу поверить.

В сумеречном свете веранды Иван Егорович прошел к столу, зажег небольшой торшер, и синий, уже дождливый полумрак уютно подсветился слабым желтым светом, а за окном стало еще темней. Шум от воды, сбегавшей по крыше, дрожал в воздухе, гром отдаленно, но часто взрывался широкими раскатами, ветер рывками бросал в стекла веранды дождевые брызги. Иван Егорович уселся в свое кресло-качалку, мрачно взглянул на своего друга, который, оперевшись одной рукой на трость, а другой на край стола, стоял перед ним, освещенный снизу вздрагивающим светом старенького торшера. Да, Сережа был прав – вот что значит август. Как быстро налетает ненастье, как стремительно сгущаются сумерки и от еще недавней игры теплых солнечных лучей не остается и следа.

– Ты, Сережа, не веришь в то, что я не хочу ее увидеть, а я не верю, в то, что ее можно увидеть, – дрожащим высоким голосом наконец проговорил Иван Егорович.

– Можно! – тут же выпалил Сережа. – Можно! – Он неожиданно резко подскочил к сидящему в кресле писателю. – Ты только представь – в этом небе, ночью, сквозь ливень и вспыхивающие молнии! Ведь это будет великолепно! Это будет просто великолепно!

Иван Егорович схватил себя за голову и, почти плача, выкрикнул:

– Ну ты же пытаешь меня! Зачем ты пытаешь меня, старик?

- Я не пытаю, – шелестящим шепотом зашипел Сергей Сергеевич, опускаясь на колени перед своим товарищем, – я не пытаю. Я просто хочу, чтобы мы еще раз сделали это, я хочу посмотреть на нее! Последний раз. Ведь мы можем это сделать. У меня много материала. Я знаю, и у тебя тоже. Что ты сейчас пишешь?
- Нет! – Иван Егорович плаксиво крикнул, схватив Сережу за плечи пиджака. – Нет, не читай! Я прошу тебя, пожалуйста!
- Сережа несколько секунд, непонимающе вытаращив глаза, смотрел на Ивана Егоровича, потом вдруг резко дернулся, высвобождаясь от хватки своего друга, судорожно напрягаясь, поднялся и шагнул к рабочему столу, на котором в беспорядке белели черновики.
- Нет! – еще раз выкрикнул Иван Егорович, но уже слабо, как-то потухнув. – Оставь в покое мои черновики, ты не имеешь права, оставь.
- Замолчи, – бросил через плечо Сережа.
- Он перебирал исписанные страницы, потом выбрал одну, приблизил к лицу. За окном затрепетала молния, осветив на секунду дрожащим всплеском веранду, стол, Сережу, стоящего с листом бумаги, и Ивана Егоровича, который закрыл руками лицо. Сережа, приблизив лист к торшеру, стала читать вслух, с большим выражением, понизив голос и добавив немного хрипотцы:
- У девочек так пахнет изо рта,  
Когда ты рядом с их молочными губами,  
Что к сердцу, сжавшемуся, тихими шагами  
Внезапно подступает пустота.*
- У девочек на мягком животе  
Такая теплота от кожи нежной,  
Что сердце падает, как в океан безбрежный,  
И тонет в подступившей пустоте.*
- У девочек так горячо внутри,  
Так нежно жжет пурпурная безбрежность,  
Что, сердце, камнем канувшее в нежность –  
Достигни дна и там навек задержи!*
- Сережа откашлялся, потянулась тишина. Казалось, что дождь стих, хотя он по-прежнему лил и бросался в окна и молнии вспыхивали слепящим трепетом. Лампочка в торшере мигала, желтый прозрачный свет, дрожа, отражался на деревянном потолке веранды, падал на самодельные стеллажи, доверху забитые книгами и журналами.
- Ее нельзя вернуть, – тихо проговорил Иван Егорович. Он сидел в кресле, так же закрывая лицо руками.
- Но я хочу ее, – выдохнул Сережа, кладя лист со стихотворением на место. – Я хочу вернуть ее. Она была такая высокая... Такая красивая.
- Я тоже хочу, но ее больше нет, – ответил Иван Егорович.
- Она была холодная, но я любил ее. – Сергей Сергеевич, опираясь на стол, глядел в окно, за которым бесшумно бушевала гроза.
- И я любил ее, – отозвался Иван Егорович. – Но ее больше нет. И ничего не вернешь. Нет дороги назад.
- Она была такая близкая, – уже почти шепотом проговорил Сережа. – Я не могу. Нет, я должен это сделать. Я не верю, не верю! – Тут он выпрямился, презирая свою боль в пояснице, схватил трость и повернулся к Ивану Егоровичу. – Не верю! – крикнул он ему еще раз и устремился к выходу.
- Куда ты? – вдруг очнувшись, испугался Иван Егорович. – Дождь же, гроза! Куда?
- Я должен быть в Москве! – Сережа обернулся, глаза его были в слезах. – Я мчусь в Москву!
- На чем ты мчишься-то? – спросил Иван Егорович. – На пиджаке-самолете своем, что ли, полетишь?
- Да! – гордо подняв голову, ответил Сережа. – Именно на нем!
- Ну, лети, – презрительно бросил Иван Егорович.
- Ты предатель! – вскрикнул Сережа, зажмурил глаза, хотел что-то еще прокричать, но вдруг вздрогнул и с усилием бросился к Ивану Егоровичу, взяв свою трость обеими руками и подняв ее над головой.
- Иван Егорович, сидя в кресле, недоумевающе смотрел на приближающегося товарища и не успел сообразить, что нужно что-то предпринять. Сережа тем временем проворно зашел за кресло своего друга и с напряженным кряхтением, предвзвительно примерившись, обхватил тростью шею Ивана Егоровича, с силой притянув ее к своей груди обеими руками. Иван Егорович тут же пронзительно закричал, поняв, наконец, что Сережа решил его задушить. Он пытался сопротивляться, но силы оказались неравны – Сережа, дрожа, с таким напряжением тянул на себя свою палку, что Иван Егорович не мог как следует даже набрать воздуха в грудь. Он попытался поднять ноги, кое-как уперся ими в стоящий рядом стол, безуспешно старался ухватить нависающего сверху Сережу за пиджак. Впрочем, Сережа тоже стал уставать. Почувствовав, что не может с прежней силой тянуть трость на себя, он сделал сильный рывок, который полоснул его поясницу очередным приступом боли.

Иван Егорович дернул ногами, опрокидывая стол, вместе с черновиками и торшером, который, упав, мигнул несколько раз, но не потух, лишь изменив угол освещения пространства.

– Вот тебе твои девочки, – прохрипел Сережа на ухо Ивану Егоровичу. – Вот тебе твоя нежность.

Но Иван Егорович уже не слышал своего друга – от сильного рывка у него что-то щелкнуло в шейных позвонках, он захрипел, сознание покинуло его. Разжались пальцы, ноги замерли на полу. Сережа, поняв, что убил, тоже разжал хватку, задыхаясь, с минуту повисел на своем друге, собираясь с силами, затем с трудом поднялся и, спотыкаясь, боком, не в силах отвести взгляд от затихшего на кресле Ивана Егоровича, двинулся к двери. Не глядя, вытянул руку, толкнул дверь и вышел на крыльцо, впустив на веранду волну шума и сырости августовского ливня. Удушье стягивало ему горло, он рванул воротник рубашки, открыл рот, ловя в него холодные капли дождя. Оступаясь, сошел со ступенек, раскинул руки, покачал головой, что-то неслышное сказал небу, подняв лицо вверх, и пошел к воротам, уже насквозь вымокший под налетевшим дождем и ветром. Сделав несколько шагов, он скинул пиджак, бросил его на траву и сел сверху, на колени, взмахнув палкой. В сторону дома полетел обрывок его пропавшего в крутящемся шуме голоса:

– Неси меня!.. Пиджак-самолет!.. Неси!.. Я хочу ее!..

Он сидел на своем пиджаке, посреди освещаемой редкими молниями лужайки, взмахивал палкой, поворачивая голову из стороны в сторону, то поднимая лицо вверх, то весь опускаясь вниз, почти припадая грудью к земле. Ветер подхватывал и разносил в стороны его слова, поднимал их к самым высоким ветвям дуба, крутил высоко над крышей дома Ивана Егоровича.

– Я мчусь!.. Мчусь к тебе!.. Я люблю тебя!..

Опрокинутый торшер на полу веранды слабо моргал в робкой борьбе с уже осенней чернотой позднего ненастного вечера.

